

Ю. З. Кантор
Ленинградец

«Каждый встреченный тобою человек меняет твою биографию», — сказал мне как-то Сергей Яров. И продолжил: «Если, конечно, в него взглядишься». Мне повезло: в течение нескольких лет у меня была возможность «вглядываться» в одного из самых незаурядных представителей нашей профессии. И это знакомство, безусловно, поменяло мою биографию: я узнала, как можно сочетать абсолютную беспристрастность анализа жестоких фактов и гуманизм научного вывода. Он был истинно петербургским интеллигентом, уходящей натурой, геным кодом, связанным с той, дореволюционной профессурой из так любимого им Серебряного века. Тихим голосом он читал потрясающие лекции о Ленинграде и ленинградцах. Собственно, это были не лекции даже, а эссе, в которых удивительным образом сочетались отстраненность и исповедальность. Он был Ленинградцем.

Сергей Викторович Яров — один из ярчайших представителей исторической науки рубежа столетий, исследователь с мировым именем, обладатель многих престижных премий. Сергей Яров был блестящим ученым и честным человеком, отрицающим любой метод исторического исследования, кроме правды — какой бы горькой она ни была. Абсолютно чуждый публичности, он испытывал острейший дискомфорт, когда коллеги и друзья, журналисты — все те, кто осознавал масштаб его одаренности и качество сделанного им, — выражали ему свое восхищение. И терпеливо отшучивался, слушая лай тех, кто изводил его, упрекая в непатриотичности и фальсификации истории. И ни разу, ни на йоту не отступил от истины.

«Для слова — правдивого слова о Ленинграде — еще, видимо, не пришло время... Придет ли оно вообще?» — этот вопрос мучил Ольгу Берггольц до конца жизни, он звучал в ее «Запретном дневнике». Это время все-таки наступило, и один из важнейших шагов на пути к долгожданному правдивому слову — книги Сергея Ярова «Блокадная этика. Представления о морали в Ленинграде в 1941–1942 гг.» и «Блокадная повседневность».

Яров, обратившийся в 80-х годах первым в СССР к теме обычного человека как участника грандиозных событий, к теории «малых дел» в большой социальной истории, изначально и до конца остался верен себе.

В его книге «Повседневная жизнь блокадного Ленинграда» практически отсутствует традиционное, каноническое описание героизма и стойкости, описание, вошедшее в привычку и потому уже не берущее за душу и не будоражащее сознание. Яров скрупулезно исследует жизнь города и горожан, оказавшихся в кольце: день за днем, час за часом. Потому что день и час для каждого ленинградца могли быть последними и при всей трагической похожести не были одинаковыми. Это видно лишь с близкого расстояния — при анализе сотен дневников, прочитанных автором. Эти дневники ранее лежали в спецхранах архивов и музеев — их приносили туда ленинградцы, надеясь, что для «правдивого слова о Ленинграде придет время». Эти дневники — проявление паразитического духовного оптимизма, люди были уверены, что их свидетельства прочтут потомки, значит, они верили в Победу.

Днем Победы среди войны стало 27 января 1944 года, когда Северная столица, во многом благодаря мужеству горожан, на заводах изготавливавших танки, пулеметы и снаряды для фронта, возводивших линии обороны, патрулировавших улицы, дежуривших на крышах во время бесконечных обстрелов, работавших на Ленинградском радио, освободилась от блокады. В «Повседневной жизни блокадного Ленинграда» нет пафосных обличений беспомощной власти. Но есть множество данных о двух реальностях: одна из них — партийно-документальная, вторая — дневниковая, созданная обычными горожанами. Город «разгружали» от мирного населения, эвакуировались в первую очередь те, «чье пребывание в Ленинграде считалось помехой для превращения его в город-крепость». И блокадная Дорога жизни оказывалась для одних дорогой смерти, потому что другим нужно

было «отчитаться об отправке». Лишь один раз Яров, не сдерживаясь, выносит приговор бездушной номенклатуре: «В любой великой народной драме, — пишет Яров в “Повседневной жизни блокадного Ленинграда”, — всегда находится место для людей, чьи поступки, казалось, опоясаны броней законности, но которые получают несмыслимое клеймо — “бессердечие”. Полумертвых людей гнали пешком по льду Ладожского озера, поскольку не хватало машин — тех самых, хрестоматийно известных полуторок». «Не была продумана организация обогревательных пунктов по пути следования колонн, — продолжает Яров. — Люди замерзали... Толпы хватались за колеса, бросались под автомобили, которые ехали, катились и дальше с окровавленными колесами».

Яров пишет и о том, как люди «на перевалочных пунктах» не получали хлеба по нескольку дней, как на «привалах» каша из бочек из-за отсутствия посуды выливалась прямо в снег... Как отбирали детей для эвакуации? Воспитатели и врачи придумывали тесты: заставляли детей пройти от стены до стены помещений без помощи взрослых. Ослабевших не брали. Иначе на смерть были бы обречены те, у кого был шанс доехать до Большой земли и выжить... Дантов ад кажется пастельной фреской по сравнению с этой реальностью.

Это анатомия блокады. Здесь много медицинских фактов и натуралистических деталей. Для того чтобы не только осознать, но и прочувствовать глубину трагедии и подвига, необходимо знать всю правду.

Я когда-то, после бурной дискуссии об истории как науке, пожаловалась Сергею Викторовичу, что осталась в меньшинстве, сказав участникам, что история — наука точная. Он, улыбаясь, ответил: «Я тоже — в меньшинстве, разве это плохо?». Профессор Яров, принципиальный противник обобщенных цифр, всегда подчеркивал: история не терпит округлений, а изложение фактов — приближительности. В его книгах, на что я всегда обращаю внимание студентов, нет округленных 900 дней блокады, «более шестисот тысяч» унесенных ею жизней. Для Ярова это принципиально и в научном, и в нравственном смысле. Блокада продолжалась 872 дня. Количество ее жертв неизвестно. И не только потому, что после снятия блокады сводить воедино данные кладбищ было запрещено, а на оглашение каких-либо иных данных, кроме официально утвержденных, было наложено вето в виде распоряжения уполномоченного по охране гостайны. Просто

и кладбища не фиксировали количество захороненных в гигантских братских могилах-ямах (которые были не только на Пискаревском). Еще одна причина — нередко люди привозили умерших родственников на кладбище, не регистрируя смерть в домкомах, это давало возможность не сдавать продовольственную карточку до конца месяца, получая по ней паек. Сотни умерших на улицах увозили похоронные команды: кто был в силах подсчитывать, сколько тел удалось погрузить в кузов?

Главное внимание С. В. Ярова как историка-исследователя сосредоточено на ленинградцах, оказавшихся духовно сильнее запредельной реальности. Тех, кто помогал подняться упавшим, кто приносил карточки домой к потерявшим их, кто доставлял на промерзший вокзал согретый на буржуйках кипяток людям, сутками ждавшим поезда до Ладоги. И это в «смертное время», когда экономили силы для каждого шага. «Каждый делал свое дело, но в единении с другими создал ту непреодолимую стену, которая оградила город от падения в бездну», — пишет Яров в «Повседневной жизни блокадного Ленинграда».

При погружении в такую тему трудно не очерстветь. Защита от очерствения — не только профессионализм историка, но и интеллигентность. Именно благодаря этим качествам автор смог уберечь себя и читателя от ожесточения. «Вот этот город — беспомощный против обстрелов и налетов, искалеченный и израненный, но и руинами очерчивающий свои границы, которые никто не смог переступить. Вот эти люди — опухшие, шатающиеся, выискивающие крошки хлеба, мучимые голодом и холодом, разучившиеся плакать — но оставшиеся людьми». Книги Сергея Ярова — выстраданный и честный памятник им всем.

С течением времени героизм обреченных на подвиг ленинградцев становится некой абстракцией, обязательной для упоминания лишь по торжественным дням, а значит, чреватой исчезновением из национальной памяти. Правда о блокадной повседневности, о ситуации в городе, в советское время закрытая цензурой, а в постсоветское непростительно не вызывавшая интереса, сохранена в документах тех лет — секретных военных сводках и донесениях спецслужб (как советских, так и фашистских), статистических данных, дневниках горожан, в воспоминаниях. Эта правда при всей ее жесткости — противоядие от обывательского беспамятства. Основа блокадных исследований

Ярова — эго-документы, дневники ленинградцев. Он был одним из первых читателей (и, вероятно, самым скрупулезным из них) блокадного фонда Отдела рукописей Российской национальной библиотеки. А открыла для него этот фонд — в прямом и переносном смысле — М. К. Свиченская, старший научный сотрудник этого отдела. Я попросила ее поделиться воспоминаниями, которые с разрешения автора привожу ниже:

«Сергея Ярова как читателя я помню ровно столько, сколько работаю в библиотеке, а тому с 1984 года минуло уже более 35 лет. Еще когда мы не были лично знакомы, я выделяла его из небезликой толпы читателей “Публички”, называя про себя “Лелем” (такое у меня сложилось для него прозвище). Познакомились же мы во время его работы над книгой “Этика блокады”, задолго до ее выхода в свет. И довольно быстро неожиданно для меня подружился.

Наряду с работой в крупных специализированных хранилищах, содержащих значительные комплексы документов по истории блокады Ленинграда, он проявлял интерес и к скромному, “лоскутному” собранию материалов о Великой Отечественной войне, хранящемуся в отделе рукописей Российской национальной библиотеки. Этот сравнительно новый и небольшой фонд был создан в 1980-е годы, его основу составили воспоминания членов Общества юных защитников Ленинграда, переданные в библиотеку из Музея истории города. Туда же попала произвольная тематическая “выборка” документов из “Собрания отдельных поступлений”, и в последующем стали передавать все новые поступления, касающиеся Великой Отечественной войны и блокады Ленинграда. До Ярова этим собранием никто особо не интересовался. Оно не содержало в себе, на первый взгляд, ярких, сенсационных свидетельств. Однако Яров посвятил ему довольно много времени, поскольку утверждал, что важны и значимы любые документы о блокаде без исключения.

Между тем, вопреки обычной практике не выдавать в читальный зал рукописи из необработанных фондов, в отношении этого собрания исследователям всегда шли навстречу и позволяли работать с его материалами. Яров был первым, кто стал последовательно и детально знакомиться с документами фонда, вводя их в научный оборот. Так, он “открыл” богатый своей фактографической “тканью” дневник работницы прядильно-ткацкой фабрики “Рабочий” М. А. Бочавер.

Дневником его можно назвать весьма условно, это своего рода летопись событий, созданная для сохранения памяти о войне в последующих поколениях. Он составлен с привлечением других материалов военного времени более широкого тематического охвата по истории завода. Большое впечатление на Ярова произвело блокадное «меню», приложенное к мемуарам врача З. А. Игнатович, ребенком пережившей блокаду. Оно называлось «Некоторые блюда из времен блокады: Рецептура» и было полностью опубликовано им в книге «Повседневная жизнь блокадного Ленинграда». Я занималась описанием этого собрания, поэтому я и подбирала для Ярова необходимые ему материалы. У нас сразу сложились товарищеские отношения. Он охотно и подробно делился своими находками и впечатлениями от знакомства с документами, от которых подчас волосы шевелились на голове. Однако к определенному моменту в процессе многолетней работы с этим «тяжелым» материалом стало ясно, что ученый достиг некоего психологического предела, будто «напитавшись» до краев чужой болью». Эта боль стала уже его повседневностью.

Дневники — основа исследования, но отнюдь не единственный источник. В книгах Ярова сосуществуют новые архивные и опубликованные материалы, принадлежащие авторам, общественное положение которых радикально различно. Яров анализирует проблему морали в ситуации априори аморальной, каковой и была нацистская блокада многомиллионного мегаполиса, ситуации исторической катастрофы, обращаясь к свидетельствам школьников и ученых, «ответственных товарищей» и иждивенцев (так называли неработающих), официальных авторов пропаганды и людей, относящихся к действиям и позиции городской (и общесоюзной) власти критично.

Сергей Яров рассматривает события «смертного времени» (осени-зимы 1941–1942 годов) с необычного ракурса. Он реконструирует, как трансформировались этические нормы в аномальной ситуации массовой гибели людей. Подробно разбираются представления людей о том, какими должны быть эти нормы, как они поддерживались, как нарушались и как реагировали на это сами нарушители и окружающие их люди. Рассматриваются взаимоотношения в семье, в кругу друзей, знакомых и сослуживцев, с начальством, с посторонними людьми.

В «Блокадной этике» нет пафосных обличений городского руководства (несмотря на наличие отдельной главы «Власть»), но есть

предельно внятные оценки ее деятельности и нравственного состояния. Блокада не могла не отразиться на действиях городских властей и рельефнее, чем обычно, обнаружить их этику. Главное — государственные интересы, и лишь потом забота о людях, таково одно из основных правил многих «ответственных работников» во время блокады, констатирует автор монографии и подтверждает этот жесткий тезис документами. В частности, тем из них, где сказано, что «в первую очередь эвакуации подлежат важнейшие промышленные ценности <...> квалифицированные рабочие, инженеры и служащие <...> ответственные и партийные работники». Что будет с остальными сотнями тысяч — вопрос риторический, поскольку «второй очереди» у блокадного Ленинграда не было. «Металл важнее человека, партийные работники ценнее ребенка — можно как угодно изворачиваться, оправдывая этот документ, но к иному выводу не прийти», — считает Яров. Может ли быть оценка жестче? На фоне огромного количества серьезной документальной, публицистической, мемуарной литературы о блокаде, вышедшей в последние два десятилетия, появление книги «Блокадная этика» закономерно воспринимается уже не как документальная сенсация, но как символический акт. И приговор власти, беспомощность и бессовестность которой со всей беспощадностью высветила правда войны. Власти, узурпировавшей право на подлинную память о трагедии и подвиге города-героя, скрывавшей страшную правду буквально с первых дней блокады и десятилетия спустя после ее окончания.

«Блокадная этика» — это анатомия блокады. Требовать от обывателей массового многодневного, многомесячного героизма — ханжеский абсурд. От многих принципов, действий, традиций, казущихся незыблемыми, обычным людям пришлось отказаться. Зимой 1941–1942 года жители Ленинграда крайне редко помогали подняться упавшему. Считали, что тому, кто упал, скорее всего уже не помочь, а поднимая его, можно лишиться последних сил и упасть самому. Поэтому обыденностью, нормой, стали такие ситуации: «На одной из улиц упал человек... Ему не встать. Он пытается кричать, но крика нет — лишь какое-то тоскливое мычание. Он царапает коченеющими пальцами следы еще живых людей, пытается привстать. К нему никто не подходит. Все идут на работу». Удивляться, осуждать, морализировать можно и нужно — но только находясь вне «смертного

времени», а значит, вне блокадного контекста, как ни цинично прозвучит применительно к запредельной блокадной реальности. Возникли кафкианские ситуации, когда в семье с несколькими детьми родители переставали кормить младших, рассчитывая ценой их гибели спасти себя и старших. И некоторым это удалось. Как они жили после того, с каким грузом памяти? Нет ответа... И тем не менее, несмотря на эти многочисленные утраты, люди продолжали оставаться людьми, помогать друг другу, делиться последним кусочком хлеба.

Одно из главных проявлений чувства милосердия — сочувствие к пострадавшим людям: слабым беспомощным, неспособным постоять за себя. Это, прежде всего, сочувствие к детям и подросткам. В то бесчеловечное время проявления сочувствия хоть и не были нормой, но все же, как убеждает Яров, их нельзя назвать и исключением. Скорее они были примером. Вот один из эпизодов, приведенный в главе «Блокадной этики», которая так и называется — «Милосердие». «Санки с новогодними подарками, предназначенными для детского дома, перевернулись, из свертков посыпались соевые конфеты... Начали останавливаться прохожие. Женщина-экспедитор собирала конфеты и, заподозрив недоброе, размахивала руками, надеясь не допустить их расхищения. “Это для детдомовцев”, — крикнула она... И произошло то, на что она, может, и не надеялась: “Люди в передних рядах окружили санки, сомкнулись, взявшись за руки, и стояли до тех пор, пока все не было собрано и упаковано”». Характерно, что для Ярова принципиально важно не только само проявление гуманистического единодушия, но и его органичная форма — «взявшись за руки», и он выделяет эти слова в цитате курсивом. Вот еще один случай: «Умерла мать, брат и сестра отдали “карточку” за то, чтобы ее похоронить. Продукты кончились, они пошли к магазину просить милостыню. У его дверей мальчик заметил, как сестра “вдруг начала оседать, глаза у нее начали стекленеть”». Их спасла женщина, вышедшая из магазина: «Спросила, что случилось, отломилась от своей нормированной порции кусочек хлеба с половину спичечного коробка и сунула сестре в рот. Та проглотила хлеб, открыла глаза и ожила». Самое непостижимое явление в событиях блокады — несмотря на все ужасы, люди находят в себе силы оставаться людьми. И нельзя не согласиться с Яровым: «Когда мы говорим о ленинградской трагедии, то, может быть, главное состояло не в том, всегда ли человек был способен проявить сострадание,

а в том, что он находил в себе силы хотя бы однажды выразить его». Автор монографии, сломав чуть отстраненную публицистичность стиля, свойственную книге в целом, здесь пишет с почти библейской интонацией: «Вся блокадная повседневность свинцовой тяжестью втаптывала человека в грязь — как здесь быть готовым к милосердию и любви? И было сочувствие — у изголовья тех, кто умирал, мы видим их родных и друзей, если они еще были живы. И было милосердие — хлеб, оставленный для себя, оказывался в протянутой руке ребенка. И было еще одно чувство — это боль». Эта неизжитая боль стала его способом существования в исторической науке, нравственным камертоном. Камертон этот был присущ во все времена лучшим представителям русской интеллигенции. Это точно подметил директор Российского государственного архива социально-политической истории, фонды которого Яров считал важнейшими для своих исследований, и главный редактор одного из лучших издательств страны — РОССПЭН, где вышли книги Ярова, А. К. Сорокин: «Чем дольше живешь, тем лучше понимаешь, что главное, чем стоит дорожить и о чем печалиться в этой жизни, — это встречи и расставания. Мое близкое знакомство и слишком скорое расставание с Сергеем Яровым состоялись на очень сжатом временном пространстве. Мы, конечно, знали друг о друге и были знакомы, но необратимая реакция позитивного человеческого взаимодействия произошла много позже того, чем мне этого хотелось, а его — такой ранний — уход оборвал едва сплетенную связующую нить. Очень крупный ученый и масштабная личность, в центре внимания которого — и научного, и человеческого — всегда находилось человеческое существо, human being. Которое, как нам хорошо известно, способно возвышаться до *Человека*, но и опускаться до *существа*. А иногда эти процессы оказываются еще и обратимы. Самым естественным образом Сергей сочетал в себе пожизненно приобретенные качества человека с большой буквы и высочайшую профессиональную квалификацию. В результате нам выпало счастье (мне, к сожалению, недолго) общаться с русским интеллигентом не по названию, который жил рядом с нами и работал вместе с нами. Светлый был человек. Светлой памяти ему надолго...»